

Платон Беседкин

РЕМНИ

I

Вечером пошел то ли снег, то ли дождь. Крупин мыкался по квартире с полудня. Открывал окно комнаты, дымил папиросами, вглядывался в волглую улицу. Двор был пуст. Тополя стояли голые, с ветками, похожими на щупальца сушеных кальмаров — те, что подают в пивных. Решившись, Крупин собрался: натянул рыжеватые сапоги, рваный бушлат. Вышел из квартиры, как на экзекуцию.

По лестнице старался идти тихо и осторожно, но в высоченных пустотах шаги все равно звучали гулко. Крупин знал, что они привлекут консьержа. От ожидания досадной встречи он зябко ежился. Тело чесалось и жгло, нарастала желчная тошнота.

Консьерж не появился. Но у дверей агентства «Ева» встретились две тощих девицы с вампирическими губами. Они взглянули на Крупина одновременно удивленно и брезгливо — будто высосали из него последние капли достоинства.

Выйдя в хлябкую непогоду, Крупин натянул капюшон. Осмотрелся, застыл, вспоминая, где покупал водку в последний раз и когда ел. В разворачивающемся ненастье сумерки казались темнее, гуще. Крупин порадовался тому, что в грязно-серой унылости его будут замечать меньше. Он давно избегал людей, окрысившись, будто неупокоенный мертвец.

Подумав, Крупин решил идти на Майдан — со вчерашнего дня он ничего не ел, а там кормили. Он мог взять любимые бутерброды с чесночным шпиком и горячего сладкого чая. Может, сегодня, будучи достаточно зол, он бы даже покричал для развлечения.

Последний раз Крупин ел там же — на Майдане. Людей на площади стало до неудобства много. Сначала это были лишь студен-

ты с флажками и бабки с иконками, но после разгона площадная скудность обросла людьми. Образовалась жужжащая, гримасничающая толпа. Приходилось выдерживать очереди за едой. Крупина это бесило. В очередях его терзало удушье, и он еще больше дрожал, путался.

— Добрый вечер.

От приветствия Крупин вздрогнул. Поздоровавшийся человек прошел дальше, в подъезд. Крупин не сразу понял, что встретил холеного армянина с четвертого этажа. Его черная, сияющая, как и он сам, «Тундра» стояла перед подъездом. Армянин был единственным из соседей, кто еще здоровался с Крупиным. Остальные брезговали.

Липовая аллея улицы Горького уходила вправо. Левее начинался парк Шевченко, разбитый напротив красного здания университета. Там магазинов было меньше. И Крупину казалось, что в последние дни он покупал алкоголь именно в них. Но косолапить по Горького не хотелось — там негде было приткнуться: лавочки, впаивные между двумя автомобильными полосами, были у всех на виду. А в парке Шевченко можно было расположиться в самом дальнем углу.

Мысли перекатывались медленно, тяжело, как затоваренная бочкотара. Чесотка и голод становились невыносимыми. К ним добавился мелкий озноб. Крупин впервые за долгое время решил купить водку рядом с домом.

Пройдя сотню метров, стесняясь, он сунул конопатой продавщице мятые гривны. Она долго не могла сосчитать сдачу. Наконец, сочла — сунула золотистые копейки, поставила на прилавок бутылку водки и «Зимневский» хлеб. Потемневший бок с хрустящей корочкой торчал из пакета — аппетитный в свой неприкрытости. Хлеб и водка перекечевали в бушлат, поближе к кислому огурцу, захваченному из дома. Комплект успокаивал. Озноб чуть унялся.

Крупин вышел на Горького. Валил снег, слюнявый и влажный. Движение машин унялось. Сумерки стягивались, как нагретый рыбий пузырь. В них Крупин чувствовал себя даже уютнее. На дальней скамейке, ближе к музею Шевченко, его ждал покой. Первый глоток отдался желчным взрывом, второй заневоллил спазмом, однако потом стало легче. Крупин выпивал привычно: отхлебывая из горла,

заеда я хлебом. Огурец по-прежнему лежал в бушлате. Как обещание счастья, убогого, мелкого.

Но и огурец не помог, когда Крупина после короткого облегчения скрутило изжогой. Она подступала к горлу, лопалась крохотными едкими пузырьками. Крупин подумал о язве, о раке желудка. Он всегда думал о самом страшном, когда становилось плохо. В последнее время мысли его были густы и черны, как гудрон.

— Погуляю с собакой — и на Майдан. А ты?

— Нет, я дома.

— Зря! Сейчас надо всем поддержать...

Мимо прошелестели собачницы. Крупин увидел яркие дутые куртки и поводки собак. Рядом семенили пекинесы в теплых манишках. «Правильно — на Майдан! — услышав, согласился Крупин. — Надо пожрать — и все пройдет». Он спрятал водку и хлеб в карман, поплелся в сторону революции.

II

Крупин долго не мог отыскать палатки с едой. Люди облипали суетливыми мухами. Напротив Главпочтамта два хмурых, заросших щетиной мужика предложили Крупину винчика. Узнали своего, так им показалось. Один держал растрепанную книжку. Крупин отшатнулся, устремился прочь.

Он боялся таких, и страх его был отрицанием — того, что он сам такой: сдавшийся, падший. Крупин пил, но всегда один. По жизни он всегда был один. Внутри его червился образ, вдолбленный в детстве, — человека, который начинает пить и водить к себе собутыльников, заводит дрянную бабу, остается без всего, а дальше начинается другая жизнь, почти загробная — бродяжническая, подбитая, волочащаяся, как контуженая нога. И Крупин держался один, потому что к жизни привязывали люди. Он гордился тем, что до сих пор, за шесть лет одинокой, хромой жизни, так и не привел никого к себе домой.

Палатка с едой нашлась ближе к метро. Закусок в ней было мало, а вот людей в очереди омерзительно много. Крупин заставил себя стоять, но держался чуть в стороне.

- Боротьба...¹
- Слава нації...²
- Банду геть...³
- Воля або смерть...⁴

Обрывки шипящих, точно пламя сырых дров, разговоров доносились до Крупина. Он терпел, смирялся. И, дождавшись, потянулся к еде.

— Не всі відразу, ти не один!⁵ — прикрикнула бледная девушка на раздаче, когда он попытался взять слишком много.

— Дура! — прошипел Крупин, не отпустив бутерброда с бледной, как лицо девушки, колбасой.

Отошел в сторону, сосредоточенно зажевал, хотя проглотить еду хотелось сразу. Но он берег, он растягивал. Опасливо достал из кармана бутылку, хлебнул. На Крупина никто не смотрел. Он растворился в раздраженной толпе. Грубая еда не уняла изжоги, но едкие пузырьки больше не лопались во рту. Крупин заметил, что людские потоки текут не к Майдану, как всегда, а к истоку Крещатика. Люди несли жовто-блакитные флаги, пели, скандировали. Крупин дожевал бутерброд, поплелся за ними.

На подходе к Бессарабскому рынку люди застревали, вязли, наполняли, как в стоке, и без того немаленькую толпу. Крупин помнил, что здесь стоит памятник Ленину. К нему школьником он носил красные гвоздики 22 апреля, 1 мая и 7 ноября. Дед Крупина по отцу был коммунистом, прадед — большевиком. Благодаря им Крупин жил в центре Киева.

Подойдя ближе, он увидел с детства знакомый памятник. Но теперь он был пленен — стянут тросами и ремнями. Они тянулись от кварцитового Ленина, как щупальца. Люди вокруг кричали, матерились. Крупин растерялся, не понимая, куда попал. Вдруг кто-то заорал:

— Дай!

И щупальца натянулись. Крупин не видел, кто управляет ими. Он терялся в пальто, шапках, куртках. Даже открыл рот, чтобы крик-

¹Борьба (здесь и далее перевод с украинского).

²Слава нации.

³Банду прочь.

⁴Свобода или смерть.

⁵Не все сразу, ты не один!

нуть, но звук вышел хилый, глухой. Крупин достал из бушлата водку, уже не слишком думая, как выглядит со стороны.

— Дай, а!

К нему обращались. Мутным взглядом Крупин выхватил из темно-серой толпы говорившего. Это был низкий мужик, обмотанный украинским флагом. Его длинные казацкие усы, мокрые от снега, тающими сосульками оплывали книзу. Не в силах возражать, Крупин протянул бутылку. Мужик в украинском флаге взглянул на этикетку — перекопился:

— Гадость...

Но все равно глотнул. Потом еще раз.

— Эй! — наконец смог возразить Крупин.

Болезненная судорога пробрала левую сторону тела. Крупин выхватил бутылку. Сунул ее в бушлат. Мужик в украинском флаге ухмыльнулся. И в этот момент кварцитовый Ленин покачнулся. Толпа закричала, уже оглушая. Крупин подался вперед, протиснулся сквозь людей, не думая, что способен на такое.

Теперь он видел памятник близко. На его основании было написано «ЛЕНИН». Крупин вспомнил себя маленьким. Вспомнил, как возлагал к памятнику гвоздики, и дед в широкополой шляпе одобрительно гладил его по голове. А потом они ехали в кафе «Пингвин», почти через весь Киев — есть мороженое из металлических вазочек. Это воспоминание полоснуло, сделало больно. Ленин рухнул.

— Слава Украине!

— Героям слава!

Раздалось со всех сторон. Вороньем заклевало. Крупин крикнул вместе с остальными, то ли поддавшись рефлексу, то ли побоявшись, что не примут за своего. Ленин грохнулся на мокрый асфальт. Девушка рядом с Крупиным снимала происходящее на телефон. Снег казался воском, расчертившим экран. К Ленину тут же подскочили люди с криками и кувалдами. Принялись бить по кварциту. Толпа затянула украинский гимн. Крупин пел вместе с остальными.

Ему стало почти хорошо. Боль улеглась, изжога прошла. Осталась только чесотка. Он давно не чувствовал себя так хорошо. Для полноты отхлебнул из горла. На этот раз никто не обратил на него внимания. Панк в косухе перехватил у здорового молодчика кувалду. Не-

сколько раз хрястнул по сломленному памятнику. Отлетели куски. Панк бросил кувалду, схватил кварцит.

— На сувениры! — крикнул в толпу.

Люди засуетились, принялись подбирать ленинские осколки. Крупин ухватил один, крохотный. Он провалился в карман рядом с надкусанным огурцом. Снег повалил сильнее. Украинский гимн, нарастая, тянулся к небу. Крупин голосил вместе с остальными. Слова разливались по холодной улице и горячим сердцам.

III

Крупин не помнил, как вернулся домой. Но бушлат и сапоги оказались рядом с тряпьем, на котором он спал. За окном растеклась ночь, в комнате горел свет. Крупин видел голые стены и ничего более. Он продал все, что мог, и теперь спал на затхлых одеялах. Их он продать не смог. Тряпье было свалено на вспухший паркет. Он достался Крупину вместе с квартирой.

Хотелось пить. Крупин пошарил вокруг. Не нашел тары — лишь сигаретную пачку. Задрожал. Он помнил истории о том, как алкоголики сгорали в своих квартирах, уснув, не погасив сигареты. Он боялся этого. До патологии. Но когда-то, Крупин знал это, он сам станет таким. И начнет водить алкашей домой. И будет спать на тряпье вместе с зачуханной бабой. Тогда его выселят из дома на улице Горького. Или Крупин спалит его.

Здесь он был лишним. Смердящим, мозолящим, гадким. Словно пакостный инженер впаял в прибор чужую деталь. Прибор работал, но деталь мешала — правильное было бы избавиться от нее.

Крупин цеплялся за свое жилье — последнее, что связывало его с какой-никакой жизнью. Нить, которая еще не оборвалась. Но она истончалась, прожженная дешевыми сигаретами и водой. Сколько раз пытались отнять ее! Сколько раз приходили те, кто называли себя риэлторами, а на деле были бандитами. Из-за них на первом этаже лишилась жилья Семеновна. Теперь там располагалось агентство «Ева». Возле него толклись шалавистые девицы. Раньше Крупин тайком разглядывал их, чтобы потом, лежа на тряпье, фантазировать. Теперь он потерял к этому интерес.

И все же — вопреки многому — квартира оставалась у Крупина. Он получил ее в наследство семь лет назад. Через год после развода с женой. Бабка, которая всегда презирала Крупина-младшего, передала ее. Бабка, которая в детстве была его швейной линейкой. Но дед завещал квартиру внуку, хоть Крупин до сих пор не мог в это поверить.

Дед никогда не был милосерден. Крупин помнил только его стальные команды и грубое, будто на гранитном обелиске лицо. Дед всегда считал Крупина хилым, никчемным. Он не одобрял его мальчишеской замкнутости, юношеской женитьбы, профессионального выбора. Крупин не оправдал надежд. С детства ему твердили, что он должен, но никогда не говорили, что он может, — разлом, который Крупин так и не преодолел. Застрял в нем: сначала одной ногой, после второй, а затем провалился весь — и уже не смог выбраться.

Но в определенный момент высеченный из красного гранита дед иссяк, кончился. Крупин прикидывал, когда это случилось. И вспоминал, как дед пришел домой после поражения Симоненко от Кучмы, раздраженный, поддатый, хотя никогда не пил.

— Страну просрала, а он радуется! — бушевал дед.

Тогда же он вышел из Коммунистической партии Украины, сдал партбилет, и близким навсегда было запрещено вспоминать об этом. Через несколько месяцев дед умер, и в квартире на Горького осталась одна бабушка. Крупин приносил ей продукты, и она все время жаловалась на сердце и легкие. На дежурный вопрос «Как дела?» — отвечала: «Да какие дела? Стариковские», — и тяжело вздыхала.

Крупин перестал спрашивать ее, и тогда бабушка начала обижаться. Она жаловалась и боялась умереть. Никогда Крупин не видел, чтобы люди так боялись смерти. А она преследовала Крупиных. Отец, победив рак, через полтора года погиб в авиакатастрофе. Погиб в тот же день, когда на «Москвиче» разбился Цой. Все вокруг только и говорили о гибели лидера группы «Кино», а у Крупина было свое, личное, горе.

Теперь он жил один. В новой стране, в новом времени. Спал на тряпье, пил дешевую водку и не помнил, что было вчера.

Крупин притянул к себе бушлат. Залез в карманы. Водки, огурца не было. Осталась горбушка серого хлеба. И что-то еще. Небольшое,

острое. Дрожащими пальцами Крупин достал красный камешек. Провел по его острым краям. И вспомнил. Как валили памятник Ленину тросами и ремнями. Как били его кувалдами. И как разлетались осколки кварцита. Один из них теперь был у Крупина. Он повертел его, жалея, что не может продать или обменять на чекушку. «На сувениры», — вспомнились слова панка.

Голод подавлял. Скоро он станет невыносимым. Крупин помнил, как это — переживать голод. До круглосуточного надо было идти по Горького минут тридцать, но в таком состоянии — не меньше сорока пяти. Крупин все труднее преодолевал адово расстояние. И с этим был связан еще один навязчивый страх.

Он помнил старуху, похожую на водяного, жившую где-то рядом с домом его матери. Периодически Крупин встречал ее в магазинчике «Влада». Она доползала туда: всегда в растоптанных, рваных калошах и засаленном ватнике нараспашку. Смердело от нее омерзительно, и продавщицы даже в мороз распахивали настежь двери. Старуха-водяной понимала это, но все равно ковыляла в магазин. Крючковатые, шишкастые пальцы ее не слушались, работали так же медленно, как и ноги. Она медленно копошилась в пакетике, где хранила деньги. Пальцы косо ощупывали лица князей на гривнах. Продавщицы зажимали нос, прикрикивали. А Крупин стоял рядом — задыхался.

«Не стать таким», — с этой мыслью он заставлял себя идти в магазин ровно. Но все равно горбился и не всегда видел дорогу. Наткался на переполненные урны и пустых людей. Думал о старухе-водяном, подгонял себя ею. Шел в страхе, жил в страхе. Фобии обволакивали его. Сейчас прежде, чем совладать с ними, Крупин должен был найти средства. Деньги он хранил в пожелтевших книгах. Тех, что еще не сдал в «Букинист». Вчера он вытряхнул из них последние гривны.

Крупин подрабатывал русско-немецкими переводами. Сначала его находили по объявлениям, затем — по знакомствам. Крупину более или менее нравилась эта работа. Она не могла не нравиться ему после той, что была у него раньше, когда он трудился в «толстом» литературном журнале на неопределенной должности: то подбирал авторов, то занимался редактурой и корректурой, но в итоге главред отправил его на реализацию книг, которые выпускало издательство при журнале. Книги выходили за счет авторов, и большую часть ти-

ража отдавали им, но меньшая оставалась на складе — ее «вешали» на Крупина. «Сбыт» — он ненавидел это слово-инспекцию, навязанное, прилипшее.

Год Крупин таскался с клетчатými баулами, набитыми чужими книгами. Торговал ими на чужих творческих вечерах. Покупали редко. На вечера приходили, в основном, пожилые люди — денег у них никогда не было. Чаще всего Крупин продавал один-два экземпляра. Приходил на вечера первым — уходил последним, собирая то, что принес, обратно в клетчатые баулы.

Дорога, метро. Два-три стакана на ночь, чтобы уснуть. Потом стаканов стало больше — но бессонница только зверела.

А после умерла мама. В своей квартирке на Виноградаре. И Крупина долго, неприлично долго не могли отыскать. Домашний телефон в его квартире на Горького отключили за неуплату. Мобильного никто не знал; Крупин часто терял аппараты. Но в дверь постучались. Раз, два, три, четыре — настойчиво. Крупин лежал, не поднимаясь; тогда у него еще была кровать. Приходить было некому. Каждый стук, каждый звонок приносил лишь неприятности, прогорклый запах которых Крупин всегда таскал с собой. Однако стук не умолкали. Крупин решил, что пришли из коммунальной службы. Так настойчиво могли колотить в дверь лишь они.

— Кто?

— Вячеслав Игоревич? — раздался сухой, как стариковская пятка, голос.

На пороге стояла седая женщина, почти старуха. Крупин не пригласил ее зайти. Постеснялся своей нищеты. А седая женщина без предисловий сообщила о смерти матери. Известие ее было скупым, ломким. Крупин пошатнулся и ударился о косяк. Зашарил в поисках сигарет, чувствуя себя так, словно вот-вот обмочится. Женщина была беспощадна. На роль вестника смерти внешне она подходила идеально.

Крупин хоронил мать пьяным. Он не помнил ничего из похорон. Не хотел ничего помнить. Ни на гроб, ни на венок, ни на поминки денег не отыскалось. Мать была не из тех, кто откладывает на похороны. В ее тесной, с кислым запахом комнатке Крупин не нашел даже чистого белья. Только под драной кушеткой валялись пустые бутылочки из-под одеколона. Крупин с отвращением по-

думал, что мать глушила его. Но потом — не сразу, через мучительный приступ омерзения — вспомнил, что одеколоном, смешанным с анальгином, она растирала больные ноги. Вспомнил и зарыдал.

На похороны Крупину одолжили денег в журнале. Он так и не отдал их. Ему сперва намекали, а после требовали. Крупин ушел из журнала, не захотел, не смог оставаться. Не из-за денег, конечно, а по совокупности. Крупин бежал от книжных баулов, от творческих вечеров, от полусумасшедших поэтов. Слишком много больных, несчастных людей встречались ему на работе, и он не хотел приносить туда еще одну, свою, порцию несчастья.

Первое время после увольнения Крупин жил впроголодь, не платил по счетам, перебиваясь тем, что распродал свои и материнские вещи. А после его пришли выселять. Он отбивался, и ему пообещали для начала отключить электричество, воду. Тогда Крупин решил продать комнату мамы, но, не имея опыта в таких делах, отдал ее за гроши. Расплатившись, Крупин жил на остатки от них, попутно подрабатывая переводами.

Однако в последние месяцы, пьяный, он все чаще допускал ошибки. Ему сделали предупреждение, а после от его услуг отказались. Он потерял одного заказчика, второго, третьего. Оставался последний. И Крупин заставлял себя работать на совесть, чтобы успеть в срок. Он почти не пил. Он засаливал русско-немецкий словарь.

Но несколько дней назад сломался его старенький ноутбук, неказистый, треснувший, как и сам Крупин. Чинить его денег не было. Крупин позвонил заказчику, попросил вторую половину оплаты, чтобы отремонтировать ноутбук. Пожалуй, не надо было звонить с похмелья. Заказчик вскинулся, напрягся. И дал срок — три дня. Срок кончался сегодня.

«Черт, Господи, черт!» — бессвязно шептал Крупин, мыкаясь по опустевшей квартире. Голод уже не давил — душил. Крупина бил озноб. В голове вспыхивало и пульсировало. Хотелось убить кого-то, он бы убил, если смог. Шальные мысли вертелись в голове. Врывались и исчезали, оставляя после себя рваные борозды.

«...а что, если, правда, убить? Тогда ведь в тюрьму, а там кормят... какая глупость!»

«...что со мной? С тем, кто читал в этой квартире книги?»

«...ордена, может быть, в коробке остались ордена...»

— За этот много не дам, — жестко сказал хмурый человек в красной бандане. Один глаз у него, кажется, был стеклянный. Крупин старался не всматриваться.

— П-почему? Это... эт-то очень дорогие.

— Для кого дорогие? Может, для тебя — да, а так — тю. — Человек, скупавший ордена, закурил сигариллу. — Хотя и ты распродаешь, значит, и для тебя — не дорогие...

Крупин сглотнул оскорбление. Не впервой. И дедовы ордена продал, как и материну комнату — за гроши. Не следовало идти к покупателю пьяным.

Теперь коробка, в которой дед хранил ордена, лежала в чулане полупустой. Там остались лишь записи, тетради и фотографии. Иногда, в приступах отчаянья, Крупин потрошил ее — искал то, что можно было продать. Однажды он нашел красный червонец — безуспешно пробовал его сбыть. Как-то ему повезло больше — Крупину попалась монета. Продав ее, он смог купить ящик водки и мешок картошки. Он волок их домой, как гигантского мамонта, оглядываясь, точно дикое, затравленное животное.

Но этой пыточной ночью в коробке не нашлось ничего ценного. С остервенением Крупин вытряхнул ее. И, не отыскав денег, в ярости разорвал пожелтевшую тетрадь, исписанную дедовым почерком. Он не интересовался тем, что нельзя было продать, обменять на алкоголь.

Из пыльной папки выпала черно-белая фотография. С нее строго взирал человек в фуражке — прадед Крупина. Лицо у него было скуластое, заостренное, с большим хрящеватым носом, над верхней губой темнела родинка. У Крупина была точно такая же — он дотронулся до нее, — передалась через поколения. И те же скулы, и тот же взгляд, но прадед жил иначе.

Впрочем, сейчас Крупин не мог думать об этом. В поисках денег он швырял бы мебель, если было бы что швырять. Но в одной комнате не осталось ничего, а в другой — лишь тряпье. Только на кухне сохранилась пара покосившихся шкафчиков и заляпанная жиром печка, которой Крупин почти не пользовался. Пустой человек в пустой квартире, обремененный лишь голодом. Он прожил эту жизнь один и остался один, а жизнь не текла, не двигалась, не делилась на вчера, сегодня, завтра, но сконцентрировалась в сердцевине выпотрошенной коробки.

Крупин вдруг ясно осознал это и проклял ее, закатив глаза к небу, загороженному облупившимся потолком. Свет лился с него. Теплый желтый электрический свет. Крупин пробился сквозь него и увидел люстру с одной раскаленной лампочкой — он, наверное, мог бы продать эту вещь. Крупин приволок ящики, служившие табуретами. Взобрался на них. Хотел разобраться, как снять люстру. Посмотрел на крепления. Но ничего не понял. Измотанный человек, цепляющийся за последнее, шаткое. И тут Крупин вспомнил картинку. Еще одну, из детства. На люстре болтался человек.

Череда странных образов замелькала перед глазами. Повесился человек. В центре Киева. Скажет ли кто об этом? Мимолетная мысль показалась недостойной, мелкой. Но она возникла. И не потому, что Крупин презирал мир, а потому, что презирал себя. Глубоко, беспощадно, как чернобыльская радиация. Дед часто говорил о ней, потому что жестоко переживал смерть Щербицкого — это был его первый надлом. Возможно (Крупин точно не знал), дед выводил людей на киевский Первомай 1986 года.

— Никогда не осуждай того, на чьем месте ты не был, — так дед любил поучать отца Крупина.

— Кто бы говорил! — огрызнулся тот.

Кто бы осудил Крупина? Завтра, послезавтра, через неделю — когда найдут труп? Что бы они подумали, увидев тело, болтающееся под облупившимся потолком? Опорожнившееся, еще более пустое, чем при жизни. Но не чистое. Малодушная мысль, как дьявольская крупа, рассыпалась по квартире.

Лампочка вспыхнула и погасла. Крупин обомлел, будто увидел знак. Тьма наполнила комнату. За окном кто-то вскрикнул. Крупин не мог сойти с ящиков, обездвиженный бессильным отчаянием. И глупая мысль стала вполне устойчивой, убедительной.

IV

Когда-то давно Крупин читал о наркомане, который долбил стены, чтобы отыскать наркоту. Крупин был готов повторить это, но, совершенно обессилевший, лежал на тряпье. Сломанный ноутбук валялся у дальней стены. Крупин не видел его, но понимал, что те-

перь отремонтировать его вряд ли получится. В отчаянии он швырнул его о стену.

Крупин гадал, как люди зарабатывают деньги. К своим почти сорока он так и не выучил эту науку. Когда был молод, что-то подбрасывали родители, что-то бабушки-дедушки, а потом к их подачкам добавились дурные работы, нужные лишь как прикрытые — мол, я при деле. А зарплата? Ну, не срослось. Трудное время.

Крупин давно сбросил свои амбиции в придорожную яму. Они сгнили там. И даже его дочь, жившая со своей матерью, не вдохновляла. Он больше полугода не разговаривал с ней — ни вживую, ни по телефону. Последний раз Крупин видел ее, бледную, испуганную, когда поздравлял с днем рождения. Утром ему, похмельному, позвонила бывшая жена.

— У твоей дочери вчера был день рождения. Ты забыл? — Голос ее был спокоен. Этот голос разглаживал его ненависть и презрение, как утюг.

— П-помню. — Крупин ответил не сразу, допил остатки.

— Почему не поздравил? — Пауза должна была измотать, но Крупин остался равнодушным. — Она ждала...

Когда Крупин опохмелился, стыд резанул больно. Он вспомнил дочь — общение с ней, неровное, рваное, как и вся его бестолковая жизнь. Наскреб какие-то бумажки, купил плюшевого медведя. Уже в метро сообразил, что для ее возраста медведь в качестве подарка был не слишком хорош. Но выкидывать было поздно. Ненавидящим взглядом Крупин смотрел на розоватого мишку. С этим настроением он и приехал к дочке.

Она не понимала, не принимала его. Бывшая жена стояла рядом, подталкивала ее к Крупину. Он протянул дочке медведя. Она неуверенно подошла — внешне почти взрослая, но сейчас такая маленькая, невинная. Крупин ненавидел себя за то, что дал ей жизнь, за то, что привел ее в мир клетчатых баулов и пустых квартир.

Ему все больше казалось — теперь он уверовал в это окончательно, — что семьи отжили свое, что жизнь изменилась, а женятся, заводят детей исключительно по привычке. Перед дочкой Крупин испытывал стыд, гадливость к себе. И в то же время теплую, словно утренний хлеб, любовь. Два враждующих чувства сидели в нем, раздирая, как на дыбе.

— Лучше бы не приходил, — буркнул он, уходя.

— Ну, с таким подарком, конечно, — саркастически ухмыльнулась бывшая жена.

Крупин с ненавистью вышел, но, дойдя до метро, понял, что злится он на себя. С ним произошло чудовищное, обрекающее — Крупин ложно смирился.

Загибаясь в пустой, зачищенной от всякого присутствия жизни квартире, он не понимал, как сможет заработать хоть немного денег. Не знал, как показаться дочери. Она была не его; стала чужой, оторванной — той, которой без него лучше. Сможет ли она, указав на него, сказать «мой отец»? Сможет ли идти рядом с ним? То, в кого — во что — он превратился, больше не имело права ходить рядом с людьми и, тем более, привязывать их к себе.

У Крупина никого не осталось. Все умерли, или он умер для них. Крупин не жалел себя, но жалел близких, которые смотрели на него с того берега. Если бы существовал Бог, а вместе с ним нечто вроде загробной жизни, то Крупин встретился бы там с ними. А он, несмотря на свою тоску, не хотел этого. Ему было стыдно. И стыд оставался единственным доказательством его жизни.

В темноте, думая о самоубийстве, Крупин снял с брюк ремень и теперь, успокаиваясь, наматывал его на ледяную руку. Крупин приобрел этот ремень на первую премию еще тогда, когда работал в институте. То тихое время запомнилось чтением книг и бесконечными перекурами. Ремень служил напоминанием о нем — добротный, прочный, сделанный из качественной кожи. Крупину захотелось рассмотреть, изучить его, но в комнате по-прежнему не горел свет.

Он встал, пощелкал выключателем. Лампочка не зажглась. Волнуясь, Крупин вышел на кухню. Поднес ремень к глазам. Взгляд туманился, но еще можно было рассмотреть то, что сопровождало его так долго. Отверстия под язычок с белесой вытертостью вокруг воскрешали память.

Помимо фабричных дырок были еще те, которые Крупин проделывал сам, дополнительно. Когда худел или толстел. И перемены внешние становились реакцией на события жизненные. Эту дырку Крупин проделал, когда растолстел после того, как, напившись, сломал ногу и пролежал в больнице несколько месяцев. Другую — ког-

да, наоборот, исхудал во время беременности жены. Еще одну сделал, когда перебрался в квартиру на Горького.

Ремень был старый, но еще годный. Он был как сам Крупин — в дырах, истертый, но, главное, еще был — его не потеряли, не пропили. Ремень выдержал многое. И Крупин должен был выдержать, сколько бы дыр в нем ни сделали, как бы его ни истерли. Жизнь требовала продолжения.

Крупин сжал ремень, вышел из кухни. На полу в коридоре валялась черно-белая фотография. С нее сурово взирал человек в фуражке. Крупин поднял фотографию, всмотрелся в лицо прадеда. Он почти ничего не знал о нем. Никогда не интересовался им. Дед говорил о нем что-то вскользь, но Крупин не слушал. В памяти остались лишь случайно схваченные обрывки.

Прадеда звали Самсон. Он родился в селе под Саратовом. Участвовал в Первой мировой войне. Окончил шесть классов, по тем временам он считался образованным человеком. Его отрядили командовать пулеметным расчетом. А генералом у них был немец. Он сдал весь полк австро-венграм. Прадед ничего об этом не знал — он продолжал сражаться. Когда австро-венгры замаршировали к легкой победе, думая, что все уже решено, пулемет прадеда излился свинцом, и австро-венгры — Крупин почему-то видел их в голубых мундирах — полегли. Полк прадеда все равно пленили, а его самого долго пытали, но жизнь сохранили. Так он попал в плен. Его швыряли по лагерям, он застрял у мадьяр — от них и сбежал. Вернулся в Саратов.

Знал ли Крупин это? Или фантазировал? Но точно была революция, и точно прадед воевал у Чапаева, командовал пулеметным расчетом. Отличился, стреляя по своим.

Как это — стрелять по своим? Крупин не представлял. Но разве люди, что перед подъездом, не здороваясь, ставят машины в ряд, как лакированные туфли в прихожей, не стреляют в своих? Крупин вернулся в темную комнату, зашарил свободной рукой по паркету. Отыскал кварцит — до боли сжал его в руке.

Прадед был добрым. Когда его назначили главным по раскулачиванию в родном селе, он заранее приходил к жертвам и говорил: «Прячьте, что можете! Мы придем завтра!» Возможно, это была только легенда. Возможно даже, Крупин придумал ее прямо сейчас. Но так хотел в нее верить — в живое, сильное.

Хотя мог ли быть добрым тот, кто отличился в Гражданской войне? Кто убивал людей из пулемета? Кто раскулачивал? Кто отбирал скотину, зерно? На это Крупин не мог ответить, но он знал, что кровь прадеда — его кровь, судьба прадеда — фрагмент судьбы всей страны; вынь кусок — и посыплется, замени — и утратится правда. Так делали — и разрушали целое. Сам Крупин был из таких. Неспособность вместить жизнь как процесс, как непрерывность мучила его последние годы, ломала, выкорчевывала из жизни. Настолько, что двадцать минут назад он хотел повеситься. Не впервые. И он ли один?

Но думал ли об этом дед, думал ли прадед? В той жизни, которая была не легче.

Крупин помнил, чем отличился дед. На Великой Отечественной войне он спас корабль, затушив пожар. Крупин помнил, чем отличился прадед. Он зачищал волжские степи от бандформирований. И наткнулся на хутор, где квартировали бандиты. Их, по легенде, было не менее десяти. Напарника убили сразу, а прадед выжил. И уничтожил бандитов. Дед стал героем, как и прадед. Отец Крупина уже не был таким — он слишком часто миндальничал, сомневался, но зато смог победить рак. Да, пожалуй, он тоже стал героем.

А что случилось с самим Крупиным? Почему на нем род героев прервался? Когда Крупин вспомнил, как панк кувалдой разносил памятник «на сувениры», а сам он терся рядом, подтягивая, подывая, — то понял, что сердцевина Крупиных извлечена — утоплена в бессилии и водке.

Вспоминая ту сцену, вульгарно-болезненную, Крупин презирал уже не только себя, но и тех, частью кого он стал. Порочное смирение, давно превратившееся в самоуничтожение, обагрилось, прорвалось, точно плевра, и из него родилось новое — ненавидящее, требующее мести, способное на поступок.

V

Владимирский собор, чей вид обычно раздражал, на этот раз заставил остановиться. Крупин засмотрелся на купола, на золото на темно-синем. Когда он склонил голову, не способный принять новое

неизъяснимое чувство, ливанул дождь. Влажно вскипел асфальт. Крупин дернулся, чтобы уйти. Мысль о пустотах квартиры, злоба, оглушившая там, потянули к Крещатику. Через тополиную аллею, через ночной дождь.

Люди Крупину не встречались, но на спуске Хмельницкого его облаяли две кудлатые псины. Шарахнувшись, Крупин почему-то вспомнил «Голубой огонек». Почувяв страх, псины залаяли громче. Но Крупин уже радовался, что рядом появился кто-то, на ком можно было выместить злобу. Он схватил камень, швырнул. Раздался вой, лай стих. Вдохновленный, как охотник, пустивший кровь, Крупин схватил еще камень. Швырнул. Псины, завыв, убралась прочь. Крупин захохотал.

Внутри у него взрывалось и клокотало. Голод, терзавший Крупина, почти отступил. Он освободил место для ярости. Она рвалась наружу, искала выход. Крупин оглянулся. Улица стояла мертвая, в колком дожде. Тополиная аллея ползла вверх — к станции метро «Университет», к саду магнолий. Когда Крупин еще жил, он любил гулять там. Но слишком давно в саду не был.

Не найдя жертвы, промокнув, Крупин добрался до «пяточка», где еще вчера стоял памятник Ленину. Теперь от него осталось лишь основание, одно слово на нем — «ЛЕНИН». Куски, осколки — все разобрали. Бесхозными валялись только ошметки ремней, тросов. Крупин помнил, как тянули ими кварцитового Ленина вниз. И мокрый снег походил тогда на жирных гусениц. Сейчас дождь замывал следы.

Крупин полез в бушлат. Достал фотографию прадеда: суровый взгляд, широкие скулы, родинка над верхней губой тут же намокли. Спрятал.

От пустоты, от стояния в одиночестве Крупин закричал. Он и не знал, что может голосить так, что в легких еще осталось столько воздуха. Размазанная по улице сырость лезла в нутро. Крупин видел себя вчерашнего, пьяного, замученного, певшего украинский гимн.

Дождь не прекращался. Стоять под ним было по-киношному глупо. Крупин пошел в сторону Майдана. Движение уняло разрывное желание. Крупин брел по Крещатику, мимо голых зимних каштанов, украшенных разноцветными лентами. Здесь уже встречались редкие люди. При виде их Крупин зло бормотал: «Суки!» Но без-

действовал. Каждый шаг отбирал силы. Крестовый поход так и не повзрослевшего старика.

Майдан перегородили мусорные баки, соединенные арматурой. Из закопченных бочек маслянисто чадили костры. Возле них грелись люди. На нескольких были надеты кислотно-салатовые ма尼шки с надписью «Народний депутат України». Крупин желчно ухмыльнулся. Люди у бочек говорили о Ленине. Крупин захотел вмешаться, но за последние месяцы разучился общаться с людьми. Смог лишь подползти, выдавить:

— Мой дед... был коммунякой.

Высокий мужик с красноватым шрамом на щеке покосился на Крупина.

— А прадед большевиком.

Кто-то засмеялся. Дым из ближайшей бочки повалил еще гуще. Мужик со шрамом сказал:

— Ну?

— Тебе чего? — встрял другой мужик. — Если ничего, иди!

Крупин кивнул, отошел. Он слонялся между людей и палаток. В одной пьяная девушка с венком в растрепанных волосах предложила ему печенья. От ее взгляда Крупин испытал забытое сексуальное возбуждение. Но, запнувшись, от всего отказался.

У «Глобуса», сев на ступени, Крупин кончился. Усталость растащила его. То сильное чувство, что он испытал в пустой квартире, сжав ремень, ушло окончательно. Крупин ощутил, как тяжело и неудобно его тело. Оно вновь чесалось, ломило, ныло. Но гаже всего были мокрые от испарины и дождя волосы. Слизкими змеями они облепили голову, ледяными струйками от них ползли гаденькие змееныши. Крупин ерошил волосы, сдавливал голову, но все равно умирал в жерле ледяного вулкана.

— Эй, что с тобой? Эй!

Крупин не сразу понял, что к нему обращались.

— Все добре?¹

Голоса было два: оба молодых, бойких, но один — мужской, другой — женский. Крупин поднял голову. На него внимательно смотрели две пары глаз. Больше Крупин ничего не заметил. Только глаза.

— У тебя все хорошо?

¹Все хорошо?

Змеи и змееныши ползли, шевелились, липли. Крупин мучился от брезгливости к самому себе. Ему сунули в руку горячий пластиковый стаканчик.

— В-вы что... делаете?

— Мы? — удивился женский голос, но мужской среагировал сразу:

— Революцию!

Крупин поднес стаканчик к губам. Даже сейчас он стеснялся своих грязных, заскорузлых рук. Отхлебнул. Горячее алкогольное провалилось в желудок.

— Надо согреться.

Голоса были добры.

— В-вы знаете, ч-что душа каждого... христианка? — вдруг сказал Крупин.

— Чого?¹

— Христианка, — потянулся губами Крупин, отхлебнул из стаканчика, уже большим, сочным глотком. — А я не понимаю, что происходит. И вы... не поймете.

Он допил, смял стаканчик. Швырнул его туда, откуда шли голоса. И вместе с ним бросил крик:

— Мой прадед делал революцию. За Ленина, слышишь?

— Слушай, ты! — мужской голос взвинулся.

Крупин наконец увидел, кто перед ним. Парень в дутой куртке стоял, а коротко стриженная блондинка тянула его за руку. Крупин попытался встать, но не смог. Ноги затекли, не слушались. Тело больше не подчинялось ему. Крупин захотел, чтобы его ударили. Это был последний шанс — призыв к жизни. Для этого он был готов ударить сам. Пустить кровь — так поступали в старину. Но вместо этого Крупин выхватил черно-белую фотографию.

— Это мой дед, а вы... — Крупин не мог отыскать слов.

— Підемо, підемо!² — потянула парня блондинка.

Но тот, разозлившись, выбил фотографию из рук Крупина. Она упала в талую лужу. Блондинка потянула парня в сторону, но тот уже не сдерживал себя и ударил Крупина ногой. Блондинка вскрикнула. Крупин повалился на бок. Тупое и твердое ударило Крупина в висок. Он тускло всхрипнул.

¹Чего?

²Пойдем, пойдем!

— Не треба було!¹ — заскулила девушка.

Крупин успел заметить, как, удаляясь, переступают их ноги, упакованные в одинаковые желтые ботинки. Боль, прострелившая от виска по всей голове, заволокла взгляд. Он дернулся и ощутил сырой холод бетона. Тьма задрожала и стала ровной.

¹Не надо было!